

# Андрей Платонов

## Московская скрипка

### 1

В город Москву шел отходник из колхоза «Победитель» Семен Сарториус. Он был человеком небольшого роста, с неточным широким лицом, похожим на сельскую местность, на котором находилось двусмысленное выражение — улыбка около рта и угрюмая сосредоточенность в неясных глазах. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, и мать крестьянка выносила его когда-то в своих внутренностях, рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом. Вместо обычного сундучка и плотничьего инструмента Сарториус нес в руках футляр от скрипки, но внутри футляра, кроме холодных блинов и куска мяса, ничего не было.

Колхоз находился от Москвы почти в ста километрах и вблизи от железной дороги; однако Сарториус, дождавшись поезда, не сел на него: народу было много, около билетной кассы происходили ссоры, ему не хотелось портить сердца — своего и чужого, что надоело уже в истекших тысячелетиях.

Он пошел пешком среди окружающей природы: времени у него впереди много — лет сорок сплошной жизни; на дворе всей страны стоит хорошая погода, июль месяц. Сколько можно передумать мысли, вспомнить забытое, пережить неизвестное в течение своей пустой дороги, — движение ног и ветер всегда настраивают сознание в голове и развивают силу в сердце.

В Москве Сарториус явился в контору консерватории и предъявил там свою командировочную бумагу. В ней сообщалось, что Тишанский сельсовет совместно с правлением колхоза «Победитель» направляют тов. Семена Яковлевича Сарториуса на учебу; деньги за правоученье, если они нужны, колхоз будет записывать на свой кредит и одновременно не оставит в нужде самого Сарториуса, то есть станет кормить его натурой до тех пор, пока требуется, равно и присылать деньги ему на снаряжение и текущие культурные удовольствия. Президиум сельсовета и правление колхоза просили отнестись к Сарториусу как к человеку дорогому для них, много раз решавшему игрой на скрипке трудные вопросы жизни, которые рассказать нельзя и если расскажешь — будет неутешительно. Однако скрипка его теперь похищена неизвестным врагом и находится не в руках, остался лишь футляр, а Сарториусу даны деньги на соответствующее приобретение. В случае порчи характера или убеждений Сарториуса — от влияний публичной жизни — просьба сообщить, чтобы средства общественного хозяйства не пошли для гибели хорошего человека.

В консерватории сказали Сарториусу, что нынче стоит лето, а прием будет осенью, поэтому придется ограничиться лишь предоставлением места в общежитии.

— Все это верно, но у меня терпенья нету, — сказал Сарториус. — Живешь-то ведь ежеминутно, когда же ждать!

— Ну как угодно, — сообщил служащий. — Писать вам ордер в общежитие, или как?

— Мало ли мне что угодно, — возразил недовольный Сарториус. — Мое общежитие — весь СССР... Ждите меня к осени, там видно будет...

Оставив консерваторию, Сарториус пошел по магазинам искать себе новую скрипку. Он их пробовал на звук и на ощущение материала, но они ему что-то не нравились, ноты звучали, но не выходили из дерева в пространство.

Бродя по городу далее, Сарториус всюду замечал счастливые, тревожные или загадочные лица, и они ему казались прекрасными от предположения их души. Он думал, что дело музыки есть выражение чужой, разнообразной жизни, а не одной своей, — своей мало, личное тело слишком узко для помещения в нем предмета, представляющего вечный и всеобщий интерес,

а не вечно жить — не надо. И Сарториус выбирал среди встречаемых людей, кем ему стать из них, чтобы узнать чужую тайну для музыки.

Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на себе не оставляло его. Он думал о мыслях в другой голове, шагал не своей походкой и жадно радовался опустевшим и готовым сердцем. Молодость его туловища превращалась в жадное вождление ума.

Улыбающийся, скромный Ленин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются.

Одна милотвидная девушка, с которой можно было бы прожить полжизни, посоветовала Сарториусу съездить на Крестовский рынок — там иногда выносят инструменты, она сама учится в музыкальном техникуме, только не по классу скрипки. Сарториус хотел несколько минут превратиться в ее мужа, но прежде поехал за скрипкой.

## 2

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и в риске отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоячих и бормочущих людей, — иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно приценились к ним, шупая и удручаясь, рассчитывая на вечное приобретение. Здесь продавали старую одежду покроя девятнадцатого века, пропитанную специальным порошком, сбереженную в десятилетиях на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что меридиан земного шара мал для измерения их пути между людьми. В толпе торговали еще и такими вещами, которые навсегда потеряли свое применение — вроде капоров с каких-то чрезвычайных женщин, украшений от чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентельменов, брелков на брюшную цепочку, урыльников доканализационного периода и прочего, — но эти вещи шли среди местного человечества не как необходимость, а как валюта жесткого качественного расчета. Кроме того, продавались носильные предметы недавно умерших людей, — смерть существовала, — и мелкое детское белье, заготовленное для зачатых младенцев, но потом мать, видимо, передумывала рожать и делала аборт, а это оплаканное мелкое белье нерожденного продавала вместе с заранее купленной погребушкой.

В специальном ряду продавали оригинальные портреты в красках и художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами из уездного окружения Москвы; который из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью: он гордился ею как заслуженной медалью. Позади фигур иногда виднелась церковь в природе и росли дубы давно минувшего лета. Одна картина была особо велика размером и висела на двух воткнутых в землю жердинах. На картине был представлен мужик или купец, небедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном худом крыльце и глядел с высоты вниз. Рубаху его поддувал ветер, в обжитой мелкой бороде находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Позади того мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились, наверно, банки с вареньем, несколько пудов пирогов с грибами и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной пристройке — видна была только одна голова ее — и с выраженьем дуры глядела в порожнее место на дворе. Мужик ее только что очнулся от сна, а теперь вышел опростаться и проверить — не случилось ли чего особенного, — но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей, и человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтоб уж скорее прожить жизнь без памяти.

...Сарториус долго стоял в наблюдении этих прошлых людей. Теперь их надмогильными камнями вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое поколение топчет где-нибудь надписи: «Здесь погребено тело московского купца 2-й гильдии Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было ... Помяни мя Господи во царствии Твоем». «Здесь

покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой ... Нам плакать и страдать, а ей на Господа взирать».

...Вместо Бога, сейчас вспомнив умерших, Сарториус содрогнулся от страха жить среди них, — в том времени, когда не сводили темных лесов, когда убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и человек плакал при керосиновой лампе или, все равно, в светящийся полдень лета

— в обширной, шумящей ветром и травой природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука, ее больше нет и не будет, и не надо ей быть.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, части от какой-то балюстрады, гирю в двенадцать старых пудов, чугунную плиту, раскопанную здесь же на месте, так что показывался только один ее край, а остальное было под землю и неизвестно; рядом сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски, дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей, — еще далее простирались сапожники, делающие работу в момент и на месте, и пищевые старухи с холодными блинами, с пирожками, начиненными мясными отходами, с сальниками, согретыми в чугунных горшках под ватными пиджаками покойных мужей-стариков, с кусками пшенной каши и всем, что утоляет голодное страдание местной публики, могущей есть всякое добро, которое только бы глоталось, а более ничего.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они хватали из рук ситец, старые валенки, булки, одну калошу и убегали в дебри бродящих тел, чтобы заработать полтинник или рубль на каждом похищении. В сущности они с трудом оправдывали ставку чернорабочего, а изнемогали больше.

В глубине базара иногда раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался туда на помощь, и вблизи чужого бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения. Одного слабого человека, одетого в старосолдатскую шинель, торговка булками загнала в лужу около отхожего места и стегала его по лицу тряпкой; на помощь торговке появился кочующий хулиган и сразу разбил в кровь лицо ослабевшего человека, свалившегося под отхожий забор. Он не издал крика и не тронул своего поврежденного лица, а спешно съедал сухую похищенную булку, с трудом размалывая ее сгнившими зубами, и вскоре управился с этим делом. Хулиган дал ему еще один удар в голову, и раненый едок, вскочив с энергией силы, непонятной при его молчаливой кротости, исчез в гуще народа, как в колосьях ржи. Он найдет себе пищу повсюду и будет долго жить без средств и без счастья, но зато часто наедаясь.

Один мужчина неясного вида стоял почти неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетой. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки, — произнес сам про себя тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей пятая категория.

— Ну давай одну штуку, — попросил Сарториус, пожелавший истратить деньги на что-нибудь.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка. Тот же торговец предложил Сарториусу подыскать заодно и скрипку, но Сарториус приобрел себе скрипку позже — у человека, покупавшего червей для рыбной ловли в обмен на свой инструмент и ворчавшего на всех прохожих, как на врагов государства.

Перед покупкой Сарториус захотел попробовать скрипку, но тесные люди все время мешали ему: тогда он поднялся в будку милиционера, — милиционер посторонился и дал место музыканту. С высоты этой надстройки Сарториус начал играть; его никто не слушал внизу: здесь давно привыкли ко всем человеческим фактам, а музыка не могла проникнуть в каждое вопиющее сердце, загроможденное собственной заботой. Но эта случайная скрипка

играла хорошо. Она была построена из темного матерьяла, тяжелее дерева, на вид грубовата и сама делала звук благородней и задушевней, чем мог музыкант. Сарториус слушал ее пение сам, как посторонний слушатель, и удивлялся, что весь громадный окружающий воздух содрогается от слабого трения смычка, а люди не обращают внимания. Он посоветовался затем на этот счет с милиционером, и тот объяснил ему:

— Чего ты хочешь — здесь бродит последний буржуазный элемент, отвели ему место в буржуазной загородке и он тоскует тут один.

— Он погибает, — сказал Сарториус.

— А что ж ему делать: кто вор, кто нищий, кто торгует. У него своя душа, доживет и умрет.

— А отчего они не работают? — спросил Сарториус.

— Как тебе сказать! — Милиционер всмотрелся в глубь толпы. — Один тебе от слова переменится, другой от наказания, — те уж давно людьми живут. А иной только смерти послушается, так что ему, чтоб стать человеком, надо бы жить раза два подряд, — это вот здешние... Здесь скучное место, гражданин, — ступай теперь по своим делам, не мешай заниматься наружным наблюдением...

Сарториус, согнувшись от уныния, навсегда покинул Крестовский рынок. Этого места тоже скоро не будет, как нет девицы Анны Васильевны Стрижевой, как умер нечистый и босой купец, смотревший с крыльца в нелюдимый обдутый непогодой свет.

### 3

С тех пор Сарториус стал жить в Москве. Само многолюдство уже возбуждало его силу, он шел среди людей, как в обольщении, и чувствовал их тело, издающее тепло.

До поздней ночи Сарториус не думал о приюте и ходил со скрипкой параллельно общему движению среди света, чистоты и тепла. Он чувствовал, что погибнуть здесь, остаться без внимания, пищи и призрения невозможно, если внутри его нет вражды к народу. И он действительно не оставался без участия. В первую же свою московскую ночь Сарториус попал ночевать к одной трамвайной кондукторше.

Он познакомился с ней случайно... Когда наступил второй час ночи и трамваи на большой скорости спешили в парк, Сарториус сел в такой трамвай и с интересом оглядел его пустынное помещение, точно тысячи людей, бывших здесь днем, оставили свое дыхание и лучшее чувство на пустых местах. Сарториус повторил свое путешествие и проехал в нескольких вагонах по разным направлениям. Кондукторша, иногда старая, иногда молодая, милая и сонная, сидела в этот час в вагоне одна и дергала бичеву на безлюдных остановках, чтобы скорее кончался последний маршрут. Сарториус подходил к кондукторше и заговаривал с ней о постороннем, не имеющем отношения ко всей окружающей видимой действительности, но зато кондукторша начинала, очевидно, чувствовать в себе невидимое. Одна кондукторша с прицепа вагона согласилась на слова Сарториуса, и он обнял ее на ходу, а потом они перешли в задний тамбур, где видно более смутно, и неслись в поцелуях три остановки, пока их не заметил какой-то человек с бульвара и не закричал им «ура».

С тех пор Сарториус изредка повторял свое знакомство с ночными кондукторшами, — иногда удачно, но чаще всего нет. Кондукторша первой ночи пригласила его ночевать, когда он сказал, что хочет спать, и положила его рядом со своей бабушкой на широкую старинную кровать, где он хорошо выспался.

На другой вечер Сарториус вышел на бульвар, где стоит памятник Пушкину. Он оставил футляр внизу и вошел на подножие памятника, на высоту всех его ступеней. Оттуда он сыграл, воображая себя перед всей Москвой, свое любимое сочинение о воробье — о том, как воробей полетел за простым зерном куда-то недалеко и там наелся среди многочисленных животных. Но скрипка разыгралась почти сама, скрипач осторожно последовал за ее усложняющейся мелодией, — музыкальная тема расширилась и судьба воробья переменилась. Он не долетел до ближней пищи: стихия ветра схватила его и понесла вдаль, в ужас, и воробей окоченел от

скорости своего полета, но он встретил ночь, — темнота скрыла от него высоту и пространство, он согрелся, уснул, сжался во сне в мелкий комок и упал вниз, в рощу на мягкую ветку, проснулся в тишине, на заре незнакомого дня, среди ликующих неизвестных ему птиц. Музыканта заслушались прохожие, в его футляр на земле потекла почти непрерывная зарплата; Сарториус застыдился и не знал, что ему делать с деньгами, точно он не нищий.

Молодая метростроевка, по-бабьи расставив ноги и пригорюнившись, слушала Сарториуса недалеко от него. Она была в мужской прозодежде, лишь обнажавшей ее женскую натуру, умна и прелестна черноволосым лицом; ясность сердца блестела в ее взгляде, следы глины и машинного масла от подземной работы не портили ее тела, а украшали, как знак чести и непорочности.

Во время игры музыкант глядел на девушку-метростроевку равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью: как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения. Под конец игры из глаз Сарториуса вышли слезы — ему самому понравилась музыка и он растрогался, но многие слушатели его улыбались, а метростроевка вовсе смеялась.

Сарториус спустился с памятника и со злобой обратился к этой метростроевке:

— Эх ты, публика! Мыслить еще не умеет, а уже смеется над чувством.

— Это играете не вы, вы так не умеете, — ответила метростроевка. — Я знаю эту скрипку, на ней и я сумею играть...

— Не жалким таким девчонкам судить, хорошеньким на одну морду, — оценил ее Сарториус. — У меня, может, весь Советский Союз шевелится в уме...

— Ах, вы — так, — загадочно произнесла метростроевка. — Вам кажется, что вы знаменитый музыкант, значит, вы скучный дурак...

Она ушла от него по своим делам, а он пошел за нею и следил за нею до ее жилища, пока она не скрылась в нем. Тогда Сарториус сел на какой-то трамвай и уехал на нем далеко за город. Там он ходил и мучился, сидел около ржаного поля, играл в безмолвии и уединении на скрипке и не умел понять способа ее устройства: почему она от его игры разыгрывается затем сама и не вполне слушается его. Он не знал физики и техники, он мог только чувствовать одни душевные страсти и тревожный, напряженный ход человеческого сердца, а это не принадлежит к твердым телам; скрипка же вполне жестка и очевидна. Удаленная Москва нежно гудела как большая музыка; ее электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю — и уже самый бедный свет заходил до здешней ржаной нивы и он лежал на ее колосьях как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь. Сарториус с вождением слушал дальнюю Москву, смотрел на небесную электрическую зарю и думал, что все это тайная музыка, и снова пускал в ход свою скрипку, слушая, как собирается вокруг нее все, что кажется немым и диким, и вторит неискусной игре девственными, спекшимися устами.

#### 4

Метростроевская работница Лида Осипова, слушавшая игру Сарториуса у памятника Пушкину, жила на пятом этаже нового дома, в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна ее квартиры выходили вверх окрестных московских крыш, и часто бывало, что Лида, вернувшись после смены и вымывшись, ложилась животом на подоконник. Волосы ее свисали вниз, и она слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии и раздается иногда смеющийся голос человека из гулкой тесноты бегущих механизмов. Подняв голову, Лида видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни... Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, молотась рожь моторами для утреннего

хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплые души танцевальных зал и происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятьях людей — во мраке, уединении, не видя своих лиц, в чистом чувстве объединенного счастья, — чтоб, наконец, — сиял огнем и блеснул радостью город ее юности, мировая столица человеческого труда, ума и человечности. Лиде Осиповой не столько хотелось переживать самой эту жизнь и наслаждаться, сколько обеспечивать ее успех, — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, ездить на катке, прессуя новый асфальт, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вбегая в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы при этом она не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать.

Когда Лида свешивалась из своего окна в эти вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, они звали ее с собою в общий летний сумрак, ей обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и два торта. Лида смеялась им, но молчала и не шла.

Позже Лида видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства.

После полуночи почти все видимые окна переставали светиться, — дневной ударный труд требовал глубокого забвения во сне, и с шепотом шин, не беспокоя лишними сигналами, проходили поздние автомобили. Лишь изредка потухшие окна снова освещались на короткое время — это приходили люди с ночных смен, ели что-нибудь, не будя спящих, и сразу ложились спать; другие же, выспавшись, вставали уходить на работу — машинисты турбин и паровозов, радиотехники, бортмеханики утренних рейсов, научные исследователи и прочие отдохнувшие.

Дверь в свою квартиру Лида Осипова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего вниз лицом на полу на своей верхней одежде. Лида подождала, пока он повернется лицом, и тогда узнала в нем музыканта, игравшего около Пушкина. Сарториус пришел сюда без спроса, а скрипку спрятал в уборной. Проснувшись, он сказал, что хочет у нее пожить, — здесь просторно и ему нравится. Лида Осипова не решилась отдавать его из-за бедности в жилищах и своего права на дополнительную площадь, — она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Сарториус стал жить; по ночам он вставал и подходил на цыпочках к спящей Лиде, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала. Через несколько дней жизни в квартире Осиповой скрипач уже укреплял каблуки на стоптанных выходных туфлях Лиды, втайне чистил ее осеннее пальто от приставшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Лида сначала ругала скрипача за подхалимство, а потом, чтоб избежать такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет — стала штопать ему носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Когда же Лида уходила на работу, Сарториус тихо начинал играть на скрипке, стараясь вникнуть в ее волшебное устройство. Но скрипка была на вид обыкновенная и дешевая, однако на ее звуки отзывались оконные стекла, стены, мебель, люстры, пустой воздух — и пели вместе, как оркестр. При Лиде же Сарториус играть боялся.

Сарториус ни разу не осмелился спросить у нее про тайну своего инструмента и что означают ее насмешливые слова у памятника. Все же Сарториус понял, что истину новой музыки, поющей о любом мертвом веществе как живое чувство, он может узнать у этой черноволосой девушки, а больше некуда обратиться. И за этим он явился к ней жить и стараться во всем любить ее.

Вскоре Сарториус узнал, что Лида Осипова работает техником по буровому делу.

В одну ночь, когда он ее, как обычно, укрывал во сне, он услышал ее счастливый смех и она прошептала неясные слова: «Милый мой, мне скучно без тебя».

Сарториус тут же спросил ее:

— А чья это скрипка, милая моя...

Лида открыла глаза:

— А что?

— Ну стало быть, нужно. — Но обнять ее сразу Сарториус испугался.

— Что тебе нужно? — опомнилась Лида. — Завтра скажу. — И уснула дальше.

Утром она сказала Сарториусу, что сегодня вечером будет бал и пусть он идет туда вместе со скрипкой: неужели ему не надоест жить лодырем до самой осени.

— А чья это скрипка, милая моя? — спросил Сарториус. — Скажи, пожалуйста.

Лида медленно оглядела скрипача.

— Какая милая?.. Это что за новость?.. Скрипка эта сделана из отходов в лаборатории моего жениха — и для него я милая: вам понятно?

— Понятно, — сказал Сарториус, — я ведь не такой уж мещанин. Я человек особенный.

— Оно и видно, — произнесла Лида без внимания и без обиды.

## 5

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты и знаменитые рабочие новых заводов. Никому из них не было более двадцати семи или тридцати лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить и покрывало лицо излишним возбуждением. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения, привели в порядок мебельное убранство в двух залах — в одном для заседания, в другом для беседы и угощения. Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Полуваров с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой.

— Пойдем, жевнем чего-нибудь, — сказал ей Полуваров.

— Жевнем, — по-женски покорно согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет; там Полуваров съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных, она жила для игры, для музыки.

— Полуваров, почему ты ешь так много? — спросила Кузьмина. — Это, может, хорошо, но на тебя стыдно смотреть.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Гаусман, две девушки подруги — обе гидравлики — с канала Москва-Волга, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор высотных моторов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, — но за ним опять послышались люди и еще пришли некоторые, и среди них — Лида Осипова со скрипачом Сарториусом.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин. Он только что вернулся из клиники, где производил трепанацию черепа маленькому ребенку, и теперь пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания, усталости и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо — в напряжении своей заботы и ответственности за улучшение всех худых, изболевшихся человеческих тел. Весь его ум был наполнен мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье, чем контроль за чужим сердцебиением, — и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения. Он хотел уже идти делать свой доклад, потому что раздался звонок, но вдруг увидел незнакомую молодую женщину, гуляющую рядом со скрипачом. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и светящееся воодушевление, скрытое за скромностью и даже робостью ее лица. Содрогнувшись от неожиданного, тайного чувства, Самбикин вышел на минуточку на открытый балкон.

Московская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряжением далеких машин. Возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Самбикина. Он поглядел на звезды, в волшебное пространство мрака и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!»

Затем он пошел в зал, где собрались его ровесники и товарищи. Самбикин должен был сделать доклад о последних работах того института, в котором он служил. Темой его доклада являлось человеческое бессмертие.

Во втором ряду сидела та молодая женщина с влекущим лицом и рядом с ней опять сидел скрипач со своим инструментом. Улыбка юности и бессмысленное очарование украшали ее, но она сама этого не замечала... Самбикин и его товарищи в институте хотели добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность — из трупов павших существ. Несколько лет назад, роаясь в мертвых телах людей, Самбикин нашел в области их сердца слабые следы неизвестного вещества, и озадачился им. Он испытал его и открыл, что вещество обладает силой возбуждать слабеющую жизнь, как будто в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности.

Но где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скупно и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несетя равнодушной волною по телу, срывает ту печать с запасной жизни, и она раздается в последний раз как безуспешный выстрел внутри человека, и оставляет неясные следы на его мертвом сердце...

Бродячий луч далекого прожектора остановился случайно на огромных окнах клуба. Слышно было в наставшей паузе, как били по шпунту и выдували исходящий пар паровые копры на Москва-реке. Лида Осипова стала беспокоиться и поворачивала голову на каждого, кто входил в залу. Несколько раз она ходила к телефону — звонить тому, кого она ожидала, но ей никто не отвечал оттуда, вероятно, испортился аппарат, и она возвращалась, не показывая своей печали.

Затем все гости перешли в другое помещение, где был накрыт стол для общего ужина, и там возобновился спор о бессмертии, о доисторических одноглазых циклопах как о первых живых существах, построивших Грецию и олимпийские холмы, — о том, что и Зевс был только каторжником с выколотым глазом, обожествленным впоследствии аристократией за свой труд, образовавшим целую страну, — и о других предметах.

Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей замедленной смерти, стояли через каждые полметра, и от них исходило еле заметное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины — инженеры, философы, бригадиры, десятники — были одеты в самый тонкий шелк республики. Правительство украшало лучших людей. Лида Осипова была в синем шелковом платье, весившем всего граммов десять, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Лиды, беспокойство ее сердца обозначалось на платье волнением его шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего метеоролога Вечкина, пришли в костюмах из превосходного матерьяла, простых и красивых; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.

Самбикин попросил Сарториуса сыграть что-нибудь: зачем же он не расстается со скрипкой.

Сарториус поднялся и с прозрачной, счастливой силой заиграл свою музыку

— среди молодой Москвы, в ее шумную ночь, над головами умолкших людей, красивых от природы или от воодушевления и счастливой молодости. Весь мир вокруг него стал вдруг резким и непримиримым, — одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая, жесткая мощь действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и крошила со скоростью вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя

всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста и понятна тем, кто ее слушал.

Но, играя, Сарториус опять не мог понять своего инструмента: почему скрипка играла лучше, чем он мог, почему мертвое и жалкое вещество скрипки производило из себя добавочные живые звуки, играющие не на тему, но глубже темы и искуснее руки скрипача. Рука Сарториуса лишь тревожила скрипку, а пела и вела мелодию она сама, привлекая себе на помощь скрытую гармонию окружающего пространства, и все небо служило тогда экраном для музыки, возбуждая в темном существе природы родственный ответ на волнение человеческого сердца.

Лида закрыла лицо руками и заплакала, не в силах скрыть свое горе. Оставив свои места, к ней подошли все присутствующие. Сарториус опустил скрипку в недоумении. Всеобщая радость свидания прекратилась.

— Послушайте, — обратилась Осипова к ближним товарищам, — у вас есть у кого-нибудь машина, мне нужно поехать...

— Сейчас будет, — сказал Самбикин.

Он вызвал по телефону автомобиль. Через десять минут Лида Осипова, Самбикин и Сарториус поехали по указанию Лиды.

В районе Каланчевской площади машина свернула в узкий переулок и остановилась. Дальше двигаться было нельзя, — там стояли пожарные машины, хотя огня нигде не замечалось, и только звучала однообразная нежная и грозная мелодия, неизвестно где.

В отдалении переулочка находилось небольшое одноэтажное здание с вывеской о том, что это завод по производству весовых гирь и новых тяжелых масс имени инж. В. И. Грубова. У самых ворот того завода находилась машина скорой помощи. Луч прожектора пожарного автомобиля освещал одно окно заводского здания; за окном — внутри помещения — неподвижно сиял самостоятельный фиолетовый свет; готовые ко всему, пожарные цепью стояли против окна — внутри маленького завода сейчас лежал один человек неизвестно, живой или мертвый.

Лида Осипова с холодным сердцем старалась понять обстановку, но вдруг, помимо действия ума и сердца, она закричала: своим высоким, наивным голосом и побежала на завод сквозь строй пожарных, которые не успели ее схватить.

Ее ожидали несколько минут, но она там умолкла и назад не вернулась. Командир пожарных приказал разобрать наружную стену здания и извлечь оттуда людей.

Нежное, грозное пение продолжалось, распространяясь на весь переулок и восходя к электрическому зареву ночной Москвы.

Сарториус узнавал этот голос пространства и дикого окружающего вещества, бывшего мертвым и безмолвным всегда, — это был голос его скрипки, которая лежала у него сейчас в футляре в руках. Он поднял футляр к уху и прислушался: весь матерьял инструмента что-то напевал и, меняя мелодию, следовал неизвестной и трогательной теме, но внешний гул и суэта людей мешали уловить мысль музыки.

— Моя скрипка, гражданин... Должно быть, теперь спасибо говорите, а сказать некому.

Сарториус увидел того самого человека, который торговал рыболовными червями на Крестовском рынке и по случаю продал ему скрипку. Он был в летах и служил, оказывается, наружным сторожем на этом заводе, а раньше работал по деревообделочному делу и занимался, ради любви к природе, рыбной ловлей.

— Что это такое у вас происходит? — спросил у него Сарториус.

— Пройдет... Владимир Иванович засел в лаборатории.

— А кто он?

— Кто-кто? Ты читай вывеску — вот он кто. Очнется.

— От чего очнется?

— Опять ему — отчего? — недовольно говорил сторож. — От дела своего... Гляди теперь, и женщина замлеет там с ним.

— Какая женщина?

— Вот тебе — какая! А с тобой-то стояла, кто? Баба Владимира Ивановича, невеста его. Станный, глубокий звук прекратился, волшебный свет в окне лаборатории погас. В двери проходной конторы завода показалась Лида Осипова и сказала пожарным:

— Ну идите же сюда, скорее, перестаньте портить здание. Теперь здесь не опасно, ток не бьет.

Пожарные вошли внутрь здания и вынесли оттуда молчащего человека, одетого в клочья своей бывшей одежды. Его поднесли к машине скорой помощи.

— Нет, я хочу домой, — сказал инженер Грубов. — Где Лида?

— Несите его сюда. — Самбикин отворил дверь своего автомобиля. — Мы поедем в Институт, — сказал он шоферу.

К автомобилю поднесли утомленного человека; его тело местами было видно, и оно покрылось густой влагой пота, точно он дрался сверх сил, но лицо его было здоровое и глаза закатывались в сон.

— Здравствуйте, — сказал Самбикин Грубову.

— Здравствуйте, — ответил больной инженер.

— Мы поедем к нам в Институт, я вам помогу, — говорил Самбикин, когда Грубова усаживали в машину.

— Не хочу, — отказался Грубов.

— Но это очень интересно: я вам волью одну штуку, какую я добыл. Очень любопытный эксперимент — советую пережить.

— Тогда поедемте, — сразу согласился Грубов.

— Обожди. — В машину всунулся ночной сторож, автор скрипки Сарториуса.

— Владимир Иванович, ты что там — замлел?

— Замлел, Сидор Петрович...

— Я, знаешь, хотел к тебе войти — шибает что-то и шибает назад.

— Нельзя, Сидор Петрович, ты умрешь.

— Нельзя — не надо... Можно я отходы возьму — хочу еще скрипки две сделать, последние уж.

— Возьми, Сидор Петрович... Ступай спи, я тоже уморился...

Они уехали. Переулок опустел. Остались только Сидор Петрович и Сарториус.

## 6

По своей привычке жить где попало и даже чужой жизнью Сарториус остался на гирьевом заводе. Его назначили чернорабочим, и он поселился в комнате у Сидора Петровича на заводском дворе. Сторож вскоре научил Сарториуса делать скрипки, он их делал обыкновенно и не знал никакого старинного искусства, но только темный, блестящий материал для работы он брал в лаборатории Грубова; этот материал был уже негодным и неточным для инженера, его бросали прочь. Сарториус не мог все же понять, почему природное вещество играет внутри почти само по себе и умнее искусства скрипача. Сидор Петрович тоже этого не знал, и даже не интересовался.

Целых два месяца томился Сарториус, ничего не узнавая, пока завод не перешел на производство новых гирь. Их не хватало в колхозах; хлеб и трудодни колхозника, сбережение урожая — наиболее драгоценного общего добра — зависело от наличия точных гирь. С их производством поэтому спешили и многим рабочим повышали квалификацию через краткие курсы. Сарториуса тоже послали учиться работать на новом деле. В заводе тогда появились небольшие электрические машины, похожие на радиоприемники. Эти машины излучали резкую, дробящую, невидимую силу, от которой обрабатываемый материал сначала грустно пел, а потом умолкал и был готов к изделию. Материалом для гирь служила глина, прессованные древесные стружки, даже простая земля и все, что дешево и почти негодно. После обработки электричеством это вещество делалось твердым, тяжелым и прочным, как сталь и свинец.

Инженер Грубов объяснил рабочим, что мир, особенно же те его места, которые обработаны человеком, построен из большого матерьяла, так как все его мелкие молекулярные части выбиты огнем, трудом, машинами и другими событиями из своих родных, лучших мест и бродят теперь в тоске внутри вещества. Электрический ток высокой частоты и ультразвуковое колебание быстро возвращают молекулы в их древние места — природа делается здоровой и прочной, молекулы оживают, они начинают давать гармонический резонанс, то есть отвечают звуком, теплотою, электричеством на всякое их раздражение, и даже поют сами по себе, когда раздражение уже прекратилось, давая знать своим далеким голосом, что они страдают и сопротивляются. И этот звук оказался понятным для человека, его сердце, когда оно несет напряжение искусства, поет почти так же, только менее точно и более неясно.

— Это оправдалось на скрипках, сделанных Сидором Петровичем, — сказал однажды Грубов на производственном совещании. — Скрипки сделаны из матерьяла, не годного по своим качествам для весовых гирь, музыку он получил из нашего брака... Но я думаю — нам придется теперь сделать несколько скрипок из настоящего матерьяла...

Грубов улыбнулся, и лицо его, омраченное долгим трудом, сделалось кротким и молодым. Этот человек много раз переживал смертельные страдания от действия жестких, диких сил электричества, и лишь будучи на краю своей могилы узнал судьбу мертвого вещества и изменил его, насколько мог.

Сарториус проработал на гирьевом заводе до сентября месяца, но потом исчез неизвестно куда. Его влекла большая Москва, на него действовало многолюдство, как воодушевление, и чужое сердце интересней своего, — он хотел испытать свою душу во всей многообразной судьбе нового мира, а не только в качестве скрипача, не в одних узких пределах своего таланта.

Земляки из его колхоза искали его по осени по всей Москве, но нашли одни слабые признаки Сарториуса в виде справок о его проживании, а живым его нигде не оказалось: он заблудился между людей. Страна его велика и добра.